

Часть третья Гражданское общество или общество подданных?

Россия: от империи – к нации¹

Эмиль Паин

Канд. ист. наук, д-р полит. наук,
профессор-исследователь НИУ «Высшая школа экономики»

За прошедшие 25 лет новейшей истории России реформы начинались и обрывались, часто сменяясь контрреформами. Институты засыпали мертвым сном или превращались в мифы. Со своей узкопрофессиональной точки зрения мы попытаемся показать природу этого застоя, инерции, бега по кругу. *Движение от империи к нации и обратно — вот главный смысл данного доклада.*

Несколько слов о терминах, чтобы было понятно, что имеется в виду. О нации. Исторически было несколько этапов формирования этого термина. Сначала нация понималась как племя, потом как этническое сообщество. Во времена Великой французской революции появилось понятие нации как согражданства, связанного с понятием *народного суверенитета*. Возник новый ключевой вопрос о том, кто источник власти: мы — народ или они — правители. Но для того чтобы появился реальный народный суверенитет, необходимо гражданское национальное самосознание. Народ может управлять государством, если сначала осознает, что такое народ и что он и есть народ. Это самая сложная и труднодостижимая часть этой формулы. Нация в гражданско-политическом смысле может быть *унитарной*, а может быть и *федеративной*. Именно по отношению к федеративной форме чаще всего проводится сравнение двух территориальных сообществ — федератив-

1 Этот раздел подготовлен в рамках исследования по гранту Российского научного фонда (проект № 15-18-00064) в РАНХиГС.

ного и имперского. *Федерация не противоположность нации, а частный случай нации.* Французский философ Эрнест Ренан в своей знаменитой лекции «Что такое нация?» (11 марта 1882 г.) именно федеративную Швейцарию представляет как образцовую нацию, подчеркивая, что истоком нации является прежде всего *солидарность ее членов в их представлении об общем благе для своей страны.*

Когда мы говорим о противоположности нации и империи, то чаще всего произносим формулу: «Империи распадаются». Но ведь прежде, чем распасться, они существовали иногда тысячи лет. Персидская империя — две с половиной тысячи лет, Римская — полторы. А федерация — это новорожденный ребенок, возраст его по историческим меркам ничтожный, еще требуются исторические доказательства того, что это дитя будет жизнеспособно.

Итак, *национальное государство (нация) федеративного типа* — это форма государственного устройства, основанного на горизонтальном объединении территориально-административных единиц, обладающих юридически определенной политической самостоятельностью в рамках союза (объединения) и связанных договорными отношениями и психологией солидарности, сознания некоторых общих интересов, а также определенным культурным единством.

Империя — вертикальная, иерархическая организация государства с неравными правами разных территориальных страт общества. Это *власть без согласия управляемых*. Это не всегда предполагает принуждение, но обязательно отсутствие согласия. Если мы возьмем положение Финляндии в Российской империи, то оно не всегда было основано на угнетении, напротив, с момента присоединения (1809 г.) в ней не было крепостного права, зато были свой парламент и конституция, о которых тогда и мечтать не могли на остальной территории империи. Но Александр Первый дал финнам эти свободы, а Александр Третий забрал, так же как в наши дни Ельцин дал федеративные свободы республикам и регионам России, а его преемник отобрал их. Главное политико-правовое отличие имперского режима от федеративного состоит в том, что право на принятие важнейших политических решений в импе-

риях имеется только у центральной власти, это право одностороннего действия. Власть в федерациях заинтересована в солидарности, а империя основывается на противоположных принципах.

Идея «Разделяй и властвуй» была центральной для существования древнейших империй. Существует она и сегодня, и дело не только в том, что разрозненные субъекты могут объединенно выступить против империй, что заблаговременно пресекается имперскими властями, но и в том, что можно успешно использовать один народ против другого для поддержания покорности по отношению к правительству (как использовали в Османской империи мамлюков и янычар, в Российской — казаков и Дикову дивизию).

Российская Конституция 1993 года создала политico-правовые условия для ответа на вопрос: империя мы или федерация. С юридической точки зрения Россия с 1993 года называется федерацией, потому что *Конституция предполагает народный суверенитет*. Многонациональный народ, согласно ей, — источник власти в России. Конституция предполагает избрание всех глав и субъектов Федерации прямым голосованием народа, устанавливает распределение полномочий и предметов ведения между центром и субъектами Федерации. 90-е годы показали, что процесс освоения национально-федеративного устройства в гражданском смысле начался вполне успешно. Как начался, так и оборвался — тут ничего принципиально нового нет. С 2000 года в России происходит возврат к централизованной имперской системе, договоры центра и регионов в одностороннем порядке денонсируются Москвой, происходит изменение власти и государственного управления, пропадают выборы субъектов Федерации. Для нас главное заключается в том, что в процессе изменения этих условий *тонкий слой гражданского самосознания исчез*, слинял, был забыт; количество людей, считающих, что они влияют на государство, сократилось в три раза с начала 2000-х годов. Желание людей участвовать в управлении уменьшилось, а комплекс признаков «имперского синдрома», напротив, стал возрождаться и развиваться.

Это тот же круговорот, который мои коллеги обсуждали на прошлых сессиях нашей конференции, отмечая поворот России в

нулевые годы к авторитаризму после кратковременного движения к демократии в 1990-е. Явный и очередной для российской истории срыв процесса политической модернизации обусловил появление в России идеологии исторической предопределенности и рост представлений о фатальной зависимости современной жизни от прошлого пути. Исторический фатализм — характерная черта нынешнего российского политического сознания, проявляющаяся в двух своих разновидностях. Одну из них представляют «охранители» — защитники авторитарного режима, проповедующие доктрину *особого пути России* в качестве идеологического щита, защищающего их от угрозы либерально-демократических перемен. Они отражают восторженное восприятие фатальной предопределенности некой исторической колеи как пути к величию. «Отчаявшиеся» — это другая модель фатализма, разделяемого той частью либеральных интеллигентов (назовем их квазилибералами), которые хотят либеральных перемен, но перестали надеяться на них и фактически соглашаются с консерваторами-мракобесами в том, что культурные традиции России, или, иначе, «культурная колея», не позволяют россиянам надеяться на успех модернизации. Квазилибералы смирились с тем, что у России фатально предопределенный «особый путь», только оценивают его иначе, чем «охранители», — как путь деградации.

Мы давно полемизируем с представителями обеих разновидностей идеи исторической предопределенности имперского пути России и в качестве одного из наших аргументов приведем данные ежегодного мониторинга Transparency International об изменении восприятия коррупции в разных странах за 2000–2016 гг. Эти показатели использованы как частный случай в рамках моих исследований динамики культурных особенностей народов постсоветских государств.

Сравнения индексов восприятия коррупции в Эстонии и Узбекистане могут показаться иллюстрацией киплинговской идеи «Восток есть Восток, Запад есть Запад, и они никогда не встретятся». Хочу обратить внимание на последовательный рост расхождения в показателях восприятия коррупции населением двух стран. В советские годы сходство таких показателей было характерно для

населения большинства республик СССР. Советская система ломала культурные традиции и сильно унифицировала культурные стандарты, в том числе и в восприятии людьми коррупции. По мере ослабления влияния советских культурных норм (с середины 1990-х), у одних народов открылся путь к саморазвитию, а у других — к деградации. Так у эстонцев восприятие коррупции становилось все более негативным (так же как и у их соседей и этнических родственников, единоверцев, представителей протестантской культуры, финнов). В Эстонии самая высокая, среди стран постсоветского мира, доля протестантского населения. Здесь же и самая высокая ориентация на протестантскую этику, которая после устраниния советских идеологических фильтров вновь заработала как традиционная культурная матрица, ориентированная на уважение формальных правовых норм. И в Узбекистане после обретения независимости возродились культурные традиции. Только они совершенно иные, чем в протестантском мире, и куда более терпимы к почитанию правителей, к внешнему принуждению и коррупции как норме, поэтому в Узбекистане уровень коррупции начал медленно, но неуклонно расти. В постсоветское время в республике начались процессы отката от тех эффектов модернизации, которые появились лишь в годы советской власти, например урбанизации. Узбекистан стал единственной постсоветской страной, где увеличивается доля сельского и уменьшается доля городского населения.

Итак, мы видим, что существуют факторы, которые способны сильно влиять на культурные традиции, как это было в советское время. Сам прошлый опыт неоднородный, и зависимость от прошлого пути у разных народов разная. Для нас, тех, кто интересуется Россией, особенно важно, что некоторые страны с православной традицией представляют собой примеры чрезвычайно быстрого продвижения политico-правовой модернизации.

Грузия, например, — это часть православного мира, которая в советское время казалась менее других подготовленной к модернизации правосознания и к движению к правовому государству. В Грузии того времени наблюдался самый высокий уровень коррупции и других форм преступности, а также самая высокая доля

«воров в законе» (элиты преступного мира) на душу населения. Но сегодня именно здесь мы видим решительный рост борьбы с коррупцией и, что особенно удивительно, быстрые перемены в массовом сознании: от восприятия коррупции как нормы — к ее оценке в качестве порока. За счет чего это произошло?

Противодействие коррупции всегда требует преодоления сопротивления элит. Именно на этом пункте чаще всего спотыкаются реформы. Если элиты не заинтересованы в изменениях, то они и не появятся. Президент Грузии Михаил Саакашвили, преодолевая сильное сопротивление элит, привлек на свою сторону идеологию национального популизма. Возглавляемое Саакашвили «Единое национальное движение» обеспечило мобилизацию населения преимущественно политическими средствами и лозунгами: «борьба с коррупцией» и «возвращение территории в единую Грузию». Неожиданная для многих удача Саакашвили (бескровное присоединения Аджарии в 2004 году) обеспечила ему широкую народную поддержку, которую он использовал для проведения болезненных реформ в сфере государственного управления.

Революция национального достоинства в Армении 2018 года — еще одна важная история, подчеркивающая возможность перемен в обществе, которое совершало такие же попытные движения, как и Россия. В 1990-е годы обозначился поворот Армении к демократии, быстро сменившейся уже в конце 1990-х авторитарным режимом, но в 2018-м к власти в этой стране пришли силы, демонстрирующие (пока) курс на либерально-демократическое обновление. Посмотрите на программу их лидера Никола Пашиняна — она в общем и целом повторяет программу Саакашвили. Одна из главных реформ — реформа управления (а вовсе не экономики) с опорой на идею «национального достоинства». В числе первоочередных задач — борьба за всемирное признание геноцида армян, за признание независимости Нагорного Карабаха, за возвращение армян на родину. Предложенная система национально-культурной мобилизации оказалась вполне действенной. Обратите внимание на форму обращения Пашиняна к соотечественникам: «Любимый народ! Гордые граждане республики!» Россию и россиян так

обычно не называют. *России свойственно громадное неверие в силу российского общества.* Такой характер элитарной психологии в значительной мере обусловил возрождение вертикали власти и имперского синдрома. Многие из таких идей родились вовсе не в кругах державников, не в головах российских силовиков. Они пришли из рядов оппозиции. В том числе от либералов: Б. Березовский предложил операцию «Наследник», А. Чубайс — операцию «Либеральная империя», либерал О. Сысуев за два года до Путина предложил идею создания федеральных округов, по сути — идею вертикали власти. Иначе говоря, идея вертикализации была продиктована вовсе не имперскими интенциями в народном сознании. Она в значительной мере была идеей элитарной. *Глубочайшее недоверие российской элиты к народу (плебсу) является важнейшим фактором неудач России в политических и социальных реформах.*

На нашей конференции много говорилось о том, что у российской власти нет перспективной программы, нет образа будущего. А разве у оппозиционно настроенной части общества такая программа есть, например, в области национально-государственного устройства?

Вместо перехода от империи к нации многими предлагается простое разрушение империи. Является ли целостность страны фетишем, который не подлежит обсуждению? Разумеется, нет, но в правовом и демократическом государстве судьба этого вопроса не может решаться без учета мнения большинства населения, а оно не заинтересовано в распаде страны. И в этом нет ничего удивительного, такой же позиции придерживается преобладающая часть населения в большинстве стран мира. Важно отметить, что в современной *России нет ни одной, хоть сколько-нибудь влиятельной силы, которая выступает за распад государства.* Ресурсов для сепаратизма нет ни в одном из российских регионов. Мы не сомневаемся в том, что серьезный и ответственный поиск направлений формирования гражданской нации в России будет ориентирован не на распад, а на укрепление федерации. К тому же нынешнюю *постимперскую систему нельзя назвать устойчивой:* она сталкивается с целым рядом новых социально-экономических

и политических вызовов, и это неизбежно воссоздает имперский синдром, точнее его остатки.

Назову лишь несколько существенных факторов, проявившихся в нулевые годы и подготавливающих кризис нового имперского порядка.

Во-первых, изменилась структура этнополитических проблем. В 1990-е сохранялось доминирование традиционной для империй проблемы — поддержания целостности страны в условиях постоянных противоречий между национальными автономиями и имперским центром (самый яркий пример этому — чеченская война в двух ее фазах: 1994–1996 и 1999–2000 гг.), а также противоречий между этнотERRиториальными общностями, как, например, между российскими республиками Осетия и Ингушетия в ходе вооруженного конфликта в 1992 г. Угроза распада страны, здимо или имплицитно сопутствующая жизни имперских государств, во многих отношениях воздействовала на политические процессы в России, обусловливая инерцию авторитаризма. Зачастую такая угроза служила для властей поводом для срыва реформ и начала эпохи реакции, а для этнического большинства — фактором воспроизведения этатизма и имперского сознания. Приблизительно к 2010–2011 гг. эта угроза ослабла, уступив место новой этнополитической проблематике. Центр тяжести этнополитических проблем изменился: он переместился из регионов в крупнейшие города под влиянием тех же процессов, что и в большинстве стран глобального Севера, а именно поднявшихся волн этнической миграции населения в города.

Во-вторых, радикально возросшая в постсоветские годы социальная и территориальная мобильность населения более всего препятствует воспроизведению традиционной имперской ситуации. В эпоху классических империй народы, как колонизированные, так и жители метрополии, веками сохраняли свои особые уклады, поскольку большая часть населения рождалась и умирала в границах своих этнических территорий. По переписи 1926 г. даже после невзгод Гражданской войны только 25% населения СССР жили за пределами мест, где они родились, тогда как, по данным последней российской переписи 2010 г., таких было уже

более половины (53,8%). Территориальная мобильность в Российской Федерации иная, чем была в СССР. В Советском Союзе свободные премещения сдерживались государственным регулированием перемещения населения, институтом прописки, дефицитом жилья и отсутствием собственности на него. Ныне же массовые миграции сминают «имперское тело», перемешивают население, приводят к целому ряду фундаментальных изменений в поведении людей. Характерно, что в 2018 году наибольшие показатели отрицательного сальдо миграции были характерны для республик Северного Кавказа — еще недавно основного очага этнополитических конфликтов. Многочисленные исследования показывают, что мигранты из национальных республик, оседая в городах России, уже во втором поколении характеризуются радикально иными нормами поведения, чем их сородичи, оставшиеся в республиках. Однако процесс культурной адаптации к новым условиям носит длительный и болезненный характер, он чреват конфликтами между пришлым и местным населением городов.

В-третьих, новые этнополитические процессы положили начало изменениям сущности русского национализма. С самого момента зарождения, со времен образования первой националистической партии («Союз русского народа», 1905 г.), этот национализм был имперским и ставил своей целью сохранение и расширение империи. Однако в 2011–2013 гг., в период подъема столкновений с кавказскими мигрантами в Москве, Петербурге и в ряде других крупнейших городов, русские националисты стали в массе своей поддерживать совершенно антиимперский лозунг — «Долой Кавказ». Этот новый антиимперский пафос в русском национализме сильно ослаб в 2014–2015 гг., когда внимание масс было переключено на события в Крыму и в Донбассе. Вместе с тем политический пульс российского общественного мнения очень неровный, и в условиях растущего недовольства масс российской политической элитой, проявляемого в том числе и горячими сторонниками присоединения Крыма, русский национализм может и ожить. Представители некогда массовых низовых ячеек русских националистов неизбежно будут искать новые формы самореализации, и этот политический ресурс будут пытаться

использовать разные политические силы, и прежде всего популистские.

В современной литературе встречаются неоднозначные оценки влияния политического *популизма* на демократию. Одни авторы настаивают на том, что популизм по своей сути антимонархичен. Другие защищают и даже превозносят популизм, считая его «подлинным голосом демократии». Нам ближе третья точка зрения, согласно которой популизм не выступает против демократии как таковой (если понимать демократию как реализацию идеи народного суверенитета и принципа большинства), но при этом не соответствует модели развитой *либеральной* демократии. Такая модель демократии возможна лишь в определенных политических условиях, она требует хотя бы минимального уровня институционально политического плюрализма и соответствующей традиции в политической культуре. В тех же обществах, где культура политического участия слабо укоренена в массовой практике и правящая элита не привыкла действовать по демократическим правилам, популизм может содействовать первым шагам к демократии. Так, выход из коммунистической системы и становление демократии в Польше в конце 1980-х гг. неразрывно связаны с именем Леха Валенсы, который и как лидер протеста, и как избранный президент Польши (1990–1995) демонстрировал явные признаки популизма, но при этом объединял вокруг себя представителей разных социальных и этнических групп. Постсоветская Россия также сделала свои шаги к демократии в начале 1990-х гг. при правлении популиста Бориса Ельцина, а успех либеральных реформ и достижения в противодействии коррупции в Грузии нулевых годов во многом связаны с именем президента-популиста Михаила Саакашвили. То же можно сказать и о мирной революции в Армении (весна 2018 г.), которую невозможно представить без ее неформального, «народного» лидера — Никола Пашиняна. В современной России также есть политики,двигающиеся от национал-популизма начала 2000-х гг. к нынешнему протестному, гражданскому (а вовсе не этническому), антикоррупционному и антиэлитарному популизму. Такой популизм может быть одним из драйверов движения к гражданской нации.